

Ю. И.  
АЙХЕНВАЛЬД

*Избранное*



**Юлий Исаевич Айхенвальд**  
**Спор о Белинском. Ответ критикам**  
Серия «Силуэты русских писателей», книга 13

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2594015](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2594015)

**Аннотация**

«Мой очерк о Белинском („Силуэты русских писателей“, вып. III, изд. второе) вызвал очень резкие возражения и протесты. И поскольку они составляют проявление оскорбленной любви к Белинскому, я их понимаю, ценю, и мне самому грустно и тяжело, что своей отрицательной характеристикой знаменитого критика я сделал больно искренним почитателям его памяти. Но, разумеется, иначе поступить я не мог, потому что обязан был сказать свою правду, чего бы это ни стоило мне, чего бы это ни стоило другим...»

## Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

16

## Юлий Исаевич Айхенвальд

### Спор о Белинском. Ответ критикам

Мой очерк о Белинском («Силуэты русских писателей», вып. III, изд. второе) вызвал очень резкие возражения и протесты. И поскольку они составляют проявление оскорбленной любви к Белинскому, я их понимаю, ценю, и мне самому грустно и тяжело, что своей отрицательной характеристикой знаменитого критика я сделал больно искренним почитателям его памяти. Но, разумеется, иначе поступить я не мог, потому что обязан был сказать свою правду, чего бы это ни стоило мне, чего бы это ни стоило другим.

Однако в том возмущении, какое встретил мой силуэт, большую роль сыграли также непомерный консерватизм и слишком почтительное отношение к авторитетам – то «литературное идолопоклонство», с которым боролся когда-то – оказывается, не вполне успешно – сам Белинский и о котором он так хорошо говорит в своих «Литературных мечтаниях»: «... мы и в литературе высоко чтим табель о рангах... Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о нем резкую правду у нас – святотатство. И добро бы еще это было вследствие убеждения! Нет, это просто из нелепого и вредного приличия или из боязни прослыть выскочкою, романтиком... Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще долго будет вредить распространению на Руси основательных понятий о литературе и усовершенствований вкуса? Литературное идолопоклонство! Дети, мы все еще молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания».

Действительно, уже первый отклик на мою статью, фельетон П. Н. Сакулина в «Русских ведомостях» («Белинский – миф», от 3 окт. 1913 г.), содержит в себе прямое запрещение спорить о Белинском и относиться как-нибудь иначе к нему, чем благоговейно. «Его (Белинского) место давно уже определено нелицеприятным судом истории; его имя – свято. Давно уже Белинский находится за чертой досягаемости. Все, что можно было сказать в хулу Белинскому, уже сказано гораздо ранее г. Айхенвальда. Развенчать Белинского нельзя» – вот что заявляет уважаемый автор.

Слишком понятно, как в устах ученого странны, опасны и нелиберальны эти душевные слова. Ведь для науки нет никого святого, наука не канонизирует, и заколдованным кругом, «чертой досягаемости» она из своих предметов не обводит ничего. Если считать Белинского иконой, святым и если думать, что история сказала о нем последнее, окончательное слово (хотя у науки последних слов не бывает), то в таком случае, но только в таком, я в самом деле виноват уже тем, что решился посмотреть на него собственными глазами. Если Белинскому можно лишь молиться («его имя свято», или, как до П. Н. Сакулина сказал Некрасов, «учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени»), то о нем вообще нельзя и разговаривать; и в таком случае, но только в таком, г. Сакулин со своей религиозной точки зрения прав, если моя характеристика для него не характеристика, а «хула», если моя статья для него не статья, а «поступок» (да еще «невероятный»), если я не просто свое мнение высказал, а «осмелился посягнуть» на тень прославленного критика, если я всем этим возбудил его «моральное негодование».

Правда, П. Н. Сакулин в только что появившейся второй статье своей «Психология Белинского» («Голос минувшего», IV, 1914 г.) говорит, что он «позволил себе» употребить слова, которые я выше подчеркнул, в ином смысле, именно в том, что хотя «можно и даже должно продолжать изучение» Белинского, «но в основном история уже произнесла свой приговор о нем»; и объявлять, будто Белинский – легенда, низводить его «на степень мелкой душонки и плохого журналиста» (квалификация не моя) так же странно, как нелепо было

бы «сводить к нулю Ломоносова или Пушкина». Из этой поправки видно, что в первый раз П. Н. Сакулин свою подлинную мысль выразил очень дурно, совершенно не теми словами. Кроме того, в «Голосе минувшего» он не объяснил, как же надо в «Русских ведомостях» понимать «хулу», «невероятный поступок», «осмелился посягнуть», «моральное негодование»: этих выражений своих г. Сакулин и не истолковал и не взял обратно.

Н. Л. Бродский в статье «Развенчан ли Белинский?» («Вестник воспитания», I, 1914) тоже называет мои обвинения последнего «кошунственными», точно Белинский – Бог или божествен.

Свободу исследования почти все оппоненты мои ограничивают и тем, что мои взгляды на Белинского пытаются опорочить ссылкой на авторитеты, т. е. на тех, по большей части выдающихся и знаменитых людей, которые Белинского прославляли. Так, П. Н. Сакулин напоминает, что славу нашего критика творили Станкевич, Герцен, Тургенев, Кавелин, кн. В. Ф. Одоевский, Некрасов, Ап. Григорьев и мн. др.: «все это – люди, которых из десятка не выкинешь»; в опровержение моей мысли об умственной несамостоятельности Белинского он, между прочим, апеллирует даже и к школьному учителю его, М. М. Попову, и к «постороннему наблюдателю», Лажечникову, которых «еще в детстве поражал» Белинский «упорной самостоятельностью характера, стойкостью и критической настроенностью своего ума». Так, г. Евг. Ляцкий в статье «Господин Айхенвальд около Белинского» («Современник», I, 1914) сообщает, что среди людей, пламенно и любовно относившихся к Белинскому, «были лица, во всяком случае не уступавшие» мне «в критической проницательности и чуткости» (Некрасов, Тургенев, Герцен, Гончаров). Так, Н. Л. Бродский, хотя и «проходит мимо» отмеченного П. Н. Сакулиным признания учителя М. М. Попова, но «проходит мимо» таким образом, что об этой педагогической оценке все-таки упоминает, а главное, свое убеждение в умственной независимости Белинского он тоже обосновывает цитатами из Станкевича, Кавелина, Панаева, Ключникова, Одоевского, Тургенева, Бакунина. Правда, г. Бродский предупреждает меня, что он это делает не «из почтительного реверанса перед авторитетами», а потому, что слова лиц, непосредственно общавшихся с Белинским, «на корню видевших его», должны звучать для меня гораздо убедительнее, чем только его, г. Бродского, собственные слова, его личное мнение, которое-де может показаться мне «бездоказательным, „субъективным“, пристрастным».

Мне от души жалко, что скромность Н. Л. Бродского ввела его здесь в глубокое заблуждение: как раз наоборот, малодоказательными для истории литературы, субъективными и пристрастными я считаю именно суждения о Белинском его друзей, собеседников и приятелей, а беспристрастным и не «субъективным» счел бы самостоятельное мнение о нем г. Бродского, который, понятно, с Белинским лично не был знаком, а, подобно мне, знает только его писания и его письма, отчего и может судить о его литературной деятельности объективно, «научно», вне личной симпатии или антипатии.

Третьи лица в тяжбе за Белинского вообще ни при чем; я их решительно отвожу и на этой позиции боя не принимаю. В своем силуэте я не считался с теми, кто Белинского хвалит, но зато не опирался и на тех, кто его осуждает; я позволил себе стать с Белинским лицом к лицу, безо всяких посредников: это – мое право, и мне всегда хочется пить из своего стакана, хотя и маленького. Убежден, что в интересах умственной гигиены так же точно поступают и мои противники.

Вот почему не выражением духовного бюрократизма и местничества, а только непоследовательностью с их стороны я признаю то, что, например, г. Ляцкий своему ответу на мою статью дает презрительное заглавие: «Господин Айхенвальд около Белинского» или что г. Иванов-Разумник тоже позволяет себе дешевое удовольствие глумления, трижды играя на сопоставлении имен: Виссарион Белинский и Юлий Айхенвальд.

\* \* \*

Прежде чем меня опровергать, критики моего силуэта устанавливают, что мое понимание Белинского далеко не ново. «Нет ни одного нового факта... Аргументация – самая избитая, которой уже не раз пользовались разные хулители Белинского», – утверждает П. Н. Сакулин. Ему вторит Н. Л. Бродский: «Факты, указанные им (т. е. мною), не новы, да и характеристика не блещет свежестью». «Хоть бы одно новое доказательство, хоть бы один оригинальный аргумент, хоть бы новое освещение старых известных фактов! Ни того, ни другого, ни третьего», – огорченно восклицает г. Иванов-Разумник («Правда или кривда?» в «Заветах», XII, 1913 г.). В самом деле, – новых фактов в моем распоряжении не было; да их, впрочем, и не могло быть, потому что не открыты были какие-нибудь новые сочинения Белинского. А если, как заявляют мои оппоненты, я не дал даже нового освещения старых фактов, если я говорю о Белинском нечто избитое и несвежее, то становится совершенно непонятным, из-за чего же поднят весь этот шум вокруг моей статьи, из-за чего же излился на меня весь этот фиал негодования?

Некоторые мои противники сами видят, что здесь есть какая-то непоследовательность, и стараются оправдать ее. Так, если мой очерк «поразил» г. Бродского, то потому, что «слишком неожиданно было увидеть г. Айхенвальда среди раболепствующих публицистов, отступников или людей, ослепленных партийной страстью, не могших понять, на кого неслись их хулы».

Это замечание, в свою очередь, поражает меня: в своей рецензии Н. Л. Бродский, не только за мой силуэт Белинского, но и за мои писания вообще, дает мне, как литератору, такую уничтожающую характеристику, так черно рисует мой нравственный авторский облик, так неумолимо отказывает мне даже в писательской честности и чувстве общественности и чувстве правды, что лишь в силу противоречия с самим собою мог он изумиться, увидев меня в дурном обществе.

Г. Иванов-Разумник тоже, поговорив о моей статье, потом спрашивает себя, стоило ли о ней вообще говорить. На свой вопрос он отвечает утвердительно: «Стоило, и по многим причинам. Главная из них, как это ни странно, та, что широкая масса „читающей публики“ знает и Белинского и вообще наших классиков только понаслышке и по школьным воспоминаниям... Вот почему и статья г. Ю. Айхенвальда может для них (для широких читающих кругов) оказаться вполне по плечу: субъективные „импресии“ этого критика, который терпеть не может Белинского, покажутся этим читателям объективной истиной».

С этим я согласен: не многие знают Белинского, – даже не все из его защитников (я не говорю о специалистах по истории литературы). И г. Иванов-Разумник вполне прав, если, думая, что моя характеристика знаменитого критика иным покажется объективной истиной, как раз поэтому («главная причина») не замалчивает ее, а разрушает.

Мои оппоненты вообще правы в том, что взгляд мой на Белинского вовсе не представляет в нашей литературе какой-то новости, какой-то неслыханной ереси (на это, впрочем, я в данном случае, как и в остальных, даже и не притязал: меня никогда не интересует, новы ли мои воззрения или нет, – были бы верны). Нехорошо только то, что мои противники, хотя и непреднамеренно, вызывают у несведущих читателей такое представление, будто о Белинском дурно отзывались одни лишь дурные обскуранты. «раболепствующие публицисты, отступники», «ослепленные партийной страстью», «Шевырев Булгарин, Погодин и компания», те, которые, по неизящному выражению г. Иванова-Разумника. «много лет подряд жевали старую жвачку о „недоучившемся студенте“».

На это я скажу: во-первых, ни Шевырева, ни Погодина, ни Полевого я к обскурантам и отступникам не причисляю; во-вторых, среди отрицателей Белинского есть люди, которых

к темному стану России не припишут и мои критики. И прежде всего я назову два великих имени: Толстой и Достоевский.

«Ну, какие мысли у Белинского! – пренебрежительно заявил Толстой в 1903 году сотруднику „Южного телеграфа“. – Сколько я ни брался, всегда скучал, так до сих пор и не прочел» («Книжный вестник», 1903 г., № 3)<sup>1</sup>.

В книге В. Лазурского «Воспоминания о Л. Н. Толстом» на стр. 37 воспроизводится такой отзыв Толстого: «Белинский – болтун; все у него так незрело. Правда, у него есть и хорошие места; он – способный мальчик... Но если Белинского и других русских критиков перевести на иностранные языки, то иностранцы не станут читать: так все это элементарно и скучно».

Я сознаюсь: тягостно как-то цитировать известные письма Достоевского к Страхову (1871 г.), но мои критики вынуждают меня к этому; да и в интересах дела – напомнить то мнение Достоевского о Белинском, которое выражено в интимной форме частного письма и потому содержит в себе наибольшую меру искренности. Достоевский пишет: «Белинский (которого вы до сих пор еще цените) именно был немошен и бессилён талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда (о Белинском еще много будет сказано впоследствии, вот увидите)... Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Одно извинение – в неизбежности этого явления... Вы никогда его не знали, а я знал и видел и теперь осмыслил вполне... Он был доволен собой в высшей степени, и это была уже личная смрадная, позорная тупость. – Вы говорите, он был талантлив. Совсем нет, и, Боже! как наврал о нем в своей статье Григорьев! Я помню мое юношеское удивление, когда я прислушивался к некоторым чисто художественным его суждениям (наприм., о „Мертв, душах“); он до безобразия поверхностно и с пренебрежением относился к типам Гоголя и только рад был до восторга, что Гоголь обличил. Здесь, в эти 4 года, я перечитал его критики. Он обругал Пушкина, когда тот бросил свою фальшивую ноту – и явился с повестями Белкина и с Арапом. Он с удивлением провозгласил ничтожество повестей Белкина. Он в повести Гоголя „Коляска“ не находил художественного цельного создания и повести, а только шуточный рассказ. Он отрекся от окончания „Евгения Онегина“. Он первый выпустил мысль о камер-юнкерстве Пушкина. Он сказал, что Тургенев не будет художником, а между тем это сказано по прочтении чрезвычайно значительного рассказа Тургенева „Три портрета“. Я бы мог вам набрать таких примеров сколько угодно для доказательства неправды его критического чутья и „восприимчивого трепета“, о котором врал Григорьев (потому что сам был поэт). О Белинском и о многих явлениях нашей жизни судим мы до сих пор еще сквозь множество чрезвычайных предрассудков».

Я не верю, чтобы кн. Вяземский, друг Пушкина, писатель яркого ума, талантливый, в суждениях независимый и оригинальный, не был искренен и руководился литературными или партийными счетами, когда так последовательно отвергал Белинского и не находил в себе терпения «дочитывать до конца ни одной из его ужасно-длинно-много-пустословных статей». В свою записную книжку он вносит такие строки: «Есть у нас грамотеи, которые печатно распинаются за гениальность Белинского. Нет повода сомневаться в добросовестности их, а еще менее заподозреть их смиренномудрие; стараться же вразумить их и входить с ними в прение – дело лишнее; им и книги в руки, т. е. книги Белинского. Белинский здесь в стороне; он умер и успокоился от тревожной, а может быть, и трудной жизни своей. Он служил литературе, как мог и как умел. Не он виноват в славе своей, и не ему за нее отвечать. Глядя на посмертных почитателей его, нельзя не задать себе вопроса,

<sup>1</sup> Эту цитату, как и ту дальнейшую, которая относится к Ю. Самарину, я беру из книги С. Ашевского «Белинский в оценке его современников», с. 318, 64–66.

до каких бесконечно-малых крупинок должны снисходить умственные способности этих господ, которые становятся на цыпочках и карабкаются на подмости, чтобы с благоговением приложиться к кумиру, изумляющему их своею величавою высотой» (Полное собрание сочин. кн. П. А. Вяземского, VIII, 139). По поводу воспоминаний о Белинском Тургенев пишет кн. Вяземский Погдину: «Оставим Тургеневу превозносить Белинского, идеалиста в лучшем смысле слова, как он говорит... Приверженец и поклонник Белинского в глазах моих человек отпетый, и просто сказать петый дурак... Тургенев просто хотел задобрить современные предрезающие власти журнальные и литературные. В статье его есть отсутствие ума и нравственного достоинства. Жаль только, что это напечатано в „Вестнике Европы“ (X, 265).

Благородный Юрий Самарин дает следующую удивительно меткую характеристику Белинского, – и прекрасный, учтивый тон ее еще больше оттеняется последовавшим на нее грубым ответом нашего критика. Белинский, по Самарину, „почти никогда не является самим собою и редко пишет по свободному внушению. Вовсе не чуждый эстетического чувства (чему доказательством служат особенно прежние статьи его), он как будто пренебрегает им и, обладая собственным капиталом, живет в долг. С тех пор как он явился на поприще критики, он был всегда под влиянием чужой мысли. Несчастливая восприимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отречься скоро и решительно от вчерашнего образа мыслей, увлекаться новизною и доводить ее до крайностей, держала его в какой-то постоянной тревоге, которая наконец обратилась в нормальное состояние и помешала развитию его способностей. Конечно, заимствование само по себе не только безвредно, даже необходимо; беда в том, что заимствованная мысль, как бы искренно и страстно он ни предавался ей, все-таки остается для него чужою: он не успевает претворить ее в свое достояние, усвоить себе глубоко, и, к несчастью, усваивает настолько, что не имеет надобности мыслить самостоятельно. Этим объясняется необыкновенная легкость, с которою он меняет свои точки зрения и меняет бесплодно для самого себя, потому что причина перемен – не в нем, а вне его. Этим же объясняется его исключительность и отсутствие терпимости к противоположным мнениям; ибо кто принимает мысль на веру, легко и без борьбы, тот думает так же легко навязать ее другим и редко признает в них разумность сопротивления, которого не находит в себе. Наконец, в этой же способности увлекаться чужим заключается объяснение его необыкновенной плодовитости. Собственный запас убеждений вырабатывается медленно, но когда этот запас берется уже подготовленный другими, в нем никогда не может быть недостатка. Разумеется, при такого рода деятельности талант писателя не может возрастать“.

Тот же Юрий Самарин на высокую оценку Белинского Герценом отозвался словами пушкинского Дон Жуана перед статуей Командора: „Какие плечи! что за Геркулес! А сам покойник мал был и тщедушен!“

Да, прав Самарин: всегда памятники больше покойников...

Можно было бы еще много процитировать отрицательных мнений о Белинском, произнесенных умными и чистыми людьми, видными деятелями русской культуры.

Насколько своим силуэтом я не сказал о Белинском чего-то неслыханно дерзостного и для специалистов неожиданного, легко усмотреть и из того, что незадолго до моей статьи, в 1912 году, появилась в Н.-Новгороде книжка П. И. Вишневого „Н. В. Гоголь и В. Г. Белинский“, где отведены последнему вполне осуждающие страницы и деятельность его охарактеризована как „сплетение лжи, краснобайства и фразерства“ (стр. 139). Правда, у большинства рецензентов книжка г. Вишневого встретила пренебрежение; но это еще не говорит против нее.

Все эти чужие слова я привожу совсем не в подтверждение своих (как я уже сказал, мне чужого не надо), а в опровержение той мысли моих оппонентов, будто отрицание Белинского является признаком раболепствующего обскурантизма и отжило свой век.



\* \* \*

Иных критиков моих, например г. Ч.В-ского („Вестник Европы“, XII, 1913 г.), особенно поразило то, что я не вижу в Белинском, как я выразился, „органического либерализма, тех предчувствий и влюбленных чаяний свободы, которые так обязательны для высокой души, и особенно для души молодой“. П. Н. Сакулин по этому поводу изумляется, что я хочу „быть plus royaliste, que le roi“; г. Ч. В-ский иронически называет меня „свободолюбивым“ (хотя я решительно не могу припомнить, где, когда и в чем проявил я несвободолюбие).

В связи с этим важно исправить одну существенную логическую ошибку П. Н. Сакулина. Условно соглашаясь на минуту с моим пониманием Белинского, он спрашивает, чем же в таком случае объяснить славу нашего критика: „Может быть, панегиристы Белинского страшно увлеклись, ценя его либерализм? Ведь у нас есть эта замашка – расхваливать человека за либеральный образ мыслей“. И на свой вопрос г. Сакулин отвечает: „Нет, и эта причина не объясняет нам дела: Ю. И. Айхенвальд убежденно говорит, что „Виссарион Отступник“, эта сума переметная, был либералом весьма сомнительного свойства“. Так вот, логическая ошибка моего рецензента в том, что он смешивает здесь панегиристов Белинского со мною: я-то действительно думаю, что Белинский был сомнительный либерал, но панегиристы его думали и думают противоположное; оттого, ясное дело, мое отрицание либерализма в Белинском не может служить опровержением гипотезы, что другие создавали ему славу именно за предполагаемый либерализм.

А самую гипотезу эту, недоверчиво предложенную П. Н. Сакулиным, я, со своей стороны, признаю очень правдоподобной. Я глубоко убежден, что самой значительной долей своих лавров Белинский обязан своей репутации либерала (и даже радикала); и если бы не этот катехизис русского либерализма, знаменитое письмо к Гоголю (как раз его, по свидетельству Ив. Аксакова, многие учителя знали наизусть, как раз оно лежало у них „будто Евангелье“), – Белинский далеко не пользовался бы такою славой и я не встретил бы из-за него столько беспощадных противников.

Я всецело соглашаюсь с замечали.» П. Н. Сакулина: «У нас есть эта замашка – расхваливать человека за либеральный образ мыслей»; и то я очень одобряю, что в подтверждение своего взгляда он цитирует самого Белинского – из того же письма к Гоголю: «У нас в особенности награждается общим вниманием всяко, так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта», и «скоро падает популярность великих талантов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности». «И публика туг права» (я несколько продолжаю сделанную П. Н. Сакулиным цитату)... «всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему злой книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего, здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность».

Я только считаю гибельной ошибкой со стороны Белинского, что этому явлению он сочувствует, а не вооружается против него всей душой. Ибо тяжкие удары нашей культуре нанес и наносит этот хорошо подмеченный и, к несчастью, приветствуемый Белинским факт; ибо нет большего греха против идеальных ценностей, чем такое вопиющее искажение оценок, такое унижение таланта, такая подмена эстетики публицистикой; ибо до сих пор страдает наша мысль от этой духовной фальсификации. И то, что Белинский не был либералом в истинном смысле слова, т. е. что у него не было широты духа и настоящей духовной свободы, – это я утверждаю, между прочим, и на основании как раз той цитаты, которую, в невольный ущерб Белинскому, привел П. Н. Сакулин.

И как одну из типичных иллюстраций того рокового недоразумения, которое, в его фактической сути, заметили В. Г. Белинский и П. Н. Сакулин и укреплению которого пер-

вый необычайно способствовал своим примером, я выпишу суждение г. Евг. Ляцкого из его статьи против меня: «Хотя я далеко не связываю поклонения г. Айхенвальда идеалу чистого искусства с равнодушием к той общественной атмосфере, среди которой этот культ является как бы синонимом удаления от шума житейской борьбы на горные вершины созерцания и воздыхания, тем не менее я беру на себя смелость утверждать, что между отрицанием триединой формулы у г. Айхенвальда и неприемлемостью для него „публицистических“ стремлений Белинского есть нечто необъяснимое, недосказанное, быть может, даже... нечто недодуманное».

Действительно, здесь есть недодуманность, — но, кажется, не с моей стороны. Если я отрицаю «триединую формулу», то я обязан принять публицистическое отношение Белинского к искусству: вот та умственная узость, которой хотел бы от меня г. Ляцкий; ее отсутствие — вот что кажется ему чем-то необъяснимым и недодуманным. Что можно исповедовать политический либерализм и в то же время не требовать и не хотеть от искусства публицистики, этого не допускает г. Ляцкий. Что между равнодушием к общественности и любовью к «идеалу чистого искусства» (точно есть какое-нибудь другое) не существует внутренней и необходимой связи — эта азбука и до сих пор остается недоступной для обитателей идейной тесноты. И так как я безусловно не причисляю к ним Е. А. Ляцкого, то я и удивляюсь, как это он «берет на себя смелость» утверждать то, что утверждает.

Мои оппоненты страстно оспаривают и то мое указание, что Белинский не был последовательно либерален не только в том широком смысле, о котором я говорил выше, но и в специальной сфере общественности. На мои слова: «вопреки молодости, нарушая ее психологические нравы, он не с протеста, не с отрицания начал, а с политических утверждений»... и на другие мои слова: «при первом же своем серьезном выступлении, в знаменитых „Литературных мечтаниях“... в тяжелую и темную пору нашей жизни... юноша Белинский, не задумываясь, делается рапсодом» уваровской формулы, «знаменитых сановников», «просвещенного и благотельного правительства», – на это все критики, кроме г. Ляцкого, в один голос и прежде всего отзываются, что я забыл про «Дмитрия Калинина» (П. Н. Сакулин употребляет даже такое выражение, что я об этой драме и «не заикаюсь»). Н. Л. Бродский называет пьесу Белинского «пламенным памфлетом против „официальной“ действительности»; г. Иванов-Разумник находит, что в «Дмитрии Калинине» Белинский выражает «самые „протестующие“ взгляды»; критик «Русского богатства» (II, 1914 г.) г. А. Дерман мою мысль, что Белинский начал с политических утверждений, тоже опровергает ссылкой на его трагедию и категорически осведомляет, что она «послужила причиной увольнения автора из университета».

Мне неизвестно, является ли по своей научной специальности историком литературы г. Дерман; если – нет, то вполне простительно, что он не читал или не запомнил такого ничтожного литературного памятника, как «Дмитрий Калинин», и с чужого голоса передает миф о причине увольнения Белинского из университета. Но мне хорошо известно, что как историки литературы достойно работают у нас в науке П. Н. Сакулин, Иванов-Разумник, Ч. В. Вский, Н. Л. Бродский. И поэтому то, что они опираются в данном случае на «Дмитрия Калинина», удивляет меня и огорчает несказанно. Разберемся.

Н. Л. Бродский полагает, будто упрек в неупоминании «Дмитрия Калинина» я, быть может, попытаюсь отразить ссылкой на то, что не имел в виду чисто литературных произведений Белинского, а говорил о нем лишь как о критике. Этот мой возможный аргумент, по г. Бродскому, отпадает, так как в своем силуэте я касался-де Белинского целиком, – да так и надо делать: ведь не писал же я сам «только о стихотворениях Тютчева – указывал и на политические статьи его» (мимоходом исправлю фактическую ошибку моего рецензента: я не указывал на политические статьи Тютчева, а разбирал только стихотворения его, между

прочим, и политические; таким образом, я не заслужил здесь, чтобы мне ставили в пример меня самого).

Почтенный критик не угадал, как я буду защищаться. Если бы я хотел прибегнуть под сень формальных доводов, я мог бы опереться на то, что в статье я говорил о «политических утверждениях», – а все согласятся, что уж во всяком случае политических отрицаний в «Дмитрии Калинине» нет; что я говорил о «первом серьезном выступлении», – а все согласятся, что детский, ниже литературной критики стоящий, наивный «Дмитрий Калинин» несерьезен. Но я не прикрою себя этими соображениями, а напомним, что трагедия Белинского по существу, по своей идее и по своему центральному содержанию вовсе не представляет собою общественного протеста. Не в этом смысл пьесы, не в этом ее пафос, не этим она вооружила против себя цензоров. Там есть отдельные риторические филиппики против рабства, против помещичьей тирании, но самая сильная из них, слова Дмитрия: «Кто дал это гибельное право – одним людям поработать своей власти волю других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище – свободу? Кто позволил им ругаться правами природы и человечества? Господин может, для потехи или для рассеяния, содрать шкуру с своего раба; может продать его как скота, выменять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь с отцом, с матерью, с сестрами, с братьями и со всем, что для него мило и драгоценно!»... – эта горячая отповедь героя сопровождается и охлаждается следующим примечанием Белинского: «К славе и чести нашего мудрого и попечительного правительства, подобные тиранства уже начинают совершенно истребляться. Оно поставляет для себя священной обязанностью пеших о счастье каждого человека, вверенного его отеческому попечению, не различая ни лиц, ни состояний. Доказательством сего могут служить все его поступки и, между прочим, Указ о наказании купчихи Аносовой за тиранское обхождение со своею девкою и городничего за допущение оно, напечатанный в 77-м No „Московских ведомостей“ за 1830 год, 24 день сентября. Этот указ должен быть напечатан в сердцах всех истинных россиян, умеющих ценить мудрые распоряжения своего правительства, напоминающие слова нашего знаменитого, незабвенного Фон-Визина: „Где Государь мыслит, где знает Он, в чем его истинная слава, – там человечеству не могут не возвращаться права его; там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего счастья и выгод в том, что законно, и что угнетать рабством себе подобных есть незаконно“».

Не только знаток, но и богомолец Белинского с его «великим сердцем», С. А. Венгеров, по-моему, совершенно прав, когда говорит об этом примечании, что «было бы величайшей ошибкой» думать, будто оно «есть лукавство и может быть приравнено к тем, мало кого вводившим в заблуждение примечаниям», которые в 60-х годах делали из цензурных соображений. К этому прибавляет г. Венгеров: «Белинский во всю свою жизнь не написал ни одного лукавого слова и славословил только тогда, когда весь был переполнен славословия». В 1831 году, утверждает наш комментатор, Белинский был «бесконечно-„благонамерен“, ультра-„благонамерен“ и к общему строю русского государственного уклада относился с полным одобрением» (Сочинения Белинского, под ред. Венгерова, т. 1, стр. 129).

Примечание Белинского только подтверждает, что центр идейной тяжести в «Дмитрии Калинине» находится вовсе не в гражданском протесте. Средоточие пьесы – кровосмешение. Брат становится любовником сестры (неведомо для себя). Потом он убивает своего брата (тоже не зная, кто его жертва). Потом он убивает свою любовницу-сестру, по ее просьбе, чтобы ее не выдали замуж за другого. Потом, наконец, он убивает самого себя. Так не этот ли отталкивающий сюжет, не это ли ужасное кровосмешение и кровопролитие заставили московских профессоров (тогдашнюю цензуру) признать сочинение мальчика-студента «безнравственным, бесчестящим университет» (такими словами сам Белинский формулирует отзыв своих судей)? И неужели последних не обезоружило бы примечание автора к тираде героя; неужели оно, наряду с другими штрихами, не показало бы им того, что впослед-

ствии увидел историк литературы, т. е. что политически студент-трагик был «ультра-благонанмерен», «бесконечно-благонанмерен»? И разве нам известно, чтобы они, эти профессора, были такими завзятыми и злобными крепостниками, что для них невозможно было простить юноше того возмущения тиранством, которое, по его же искренним словам, всецело разделяло само «мудрое и попечительное правительство»? К тому же нападки против дикого обращения с крепостными не могли звучать, хотя бы после Фонвизина, возмутительной новостью и крамолой.

Белинский в предисловии к своей пьесе ни одним словом не намекает на ее общественный характер, и не слышится там даже более общий протест – против мировой несправедливости, против неба и религии. Нет, он написал своё произведение из чистого, бескорыстного побуждения выразить этот внутренний мир самого себя, этот мир собственных мыслей и чувствований, возбуждаемых в нем созерцанием этой чудесной, гармонической, беспредельной вселенной, в которой он обитает, назначением, судьбе, человека, сознанием его нравственного величия Эпиграфом к пьесе автор выбирает стих. Пушкина: «и всюду страсти роковые, и от судей защиты нет», – и этим тоже ответственность за несчастья героя определенно перелагает с России на судьбу и роковые страсти.

Когда Дмитрий, исповедуясь своему другу Сурскому, рассказывает, что он овладел Софьей без венчания, так как не «согласие родителей и „пустые обряды“, а „одна только природа соединяет людей узами любви“, то Сурский этим глубоко возмущается, признает его поступок „гнусным“, называет Калинина „обольстителем, нарушителем чести“, считает его „злодеем, подлецом“ (хотя и неумышленным), убеждает его, что он должен был побороть свою страсть, отказаться от Софьи, идти в военную службу, „в коей или пал бы на поле брани, как следует истинному сыну отечества, и вместе с горестною жизнью окончил бы и мучения свои, или бы отличился храбростью, покрыл себя славою, приобрел чины, достоинства и титула, которые столько уважаются всеми“. „Кто тебе дал право, – вопрошает Сурский, – назвать Софью своею женою без приличных и необходимых для сего обрядов?“ И что же? Все эти благонамеренные речи очень скоро, в продолжение того же диалога, вполне убеждают Дмитрия; он отказывается от своего пренебрежения к обрядам, от владевшего им только что сознания своей правоты (как это характерно для будущего Белинского!). „Торжествуй: ты прав! ты прав! Но для чего ты открываешь мне глаза!“ – восклицает наш герой с открытыми глазами. Точно так же если в пьесе прозвучит иногда как бы кошунственная нота („А Ты, Существо Всевышнее, скажи мне: насытилось ли моими страданиями, натешилось ли моими муками?..“), то и герой в испуге и ужасе перебивает самого себя, свою дерзкую речь и тут же кается, и сам автор немедленно принимает свои меры и к словам, похожим на хулу, делает примечание, искренне защищающее „чистые струи религии и нравственности“».

Вообще, Белинский в своей трагедии, как и во всей своей дальнейшей литературной деятельности, каждому яду готовит противоядие, каждой речи – противоречие, нейтрализует самого себя и вырывает жало у своих отрицаний. Это с его стороны совсем не умысел – это его мышление.

Таким образом, невинное негодование Дмитрия против рабства и тирании, его горячность, его последний клик: «Свободным жил я, свободным и умру» – все это ни в каком случае не может быть понято в смысле определенного протеста, и если, например, г. Бродский (на 29-й стр. своей статьи-брошюры) находит несовместимым исповедание формулы: «православие, самодержавие и народность» с содержанием «Дмитрия Калинина», то это – простое недоразумение, которое сейчас же рассеется, если «Дмитрия Калинина» прочесть. Скорее триединый символ этой веры берется там под защиту. Как произведение гражданского характера, пьеса Белинского, по меньшей мере, бесцветна и безразлична: и показательны в этом отношении слова Дмитрия, что Софья «в одно и то же время трепетала

при имени Брута, как великого мученика свободы, как добродетельного самоубийцы, и при имени Сусанина, запечатлевшего своею кровью верность царю»; а Софья в свою очередь говорит, что лицо Дмитрия пылало и глаза его сверкали, когда он читал о защитниках свободы и о Сусанине, который «жертвовал за царя своею жизнью». Того, кто писал такие строки, профессорская цензура обвинить в политической неблагонадежности не могла, и я повторяю, что в пьесе юноши должны были цензоров смутить и возмутить совсем другие мотивы, именно – те, которые были признаны безнравственными; и поскольку тему о нечаянном, правда, кровосмешении брата и сестры можно считать безнравственной, постольку цензоры были правы.

Так вот причины, по которым я при оценке общественности Белинского счел возможным не принимать в расчет «Дмитрия Калинина», где обе чаши гражданственных весов приведены в равновесие.

Да и где же, наконец, объективные основания, которые позволяли бы утверждать, как это делают гг. Дерман и Иванов-Разумник, что Белинский был уволен из университета за свою пьесу, что он «поплатился» за нее? Ведь сам Белинский пишет своим родителям, что хотя о «Дмитрии Калинине» «составили журнал, но после это дело уничтожено» и ректор сказал ему, бедному автору, что о нем «ежемесячно будут ему подаваться особенные донесения». Дело уничтожено. В письме к матери так о своем увольнении сообщает наш юный трагик: «Я не буду говорить вам о причинах моего исключения из университета: отчасти собственные промахи и нерадение, а более всего долговременная болезнь и подлость одного толстого превосходительства». Впоследствии, в письмах к разным корреспондентам, Белинский тоже ни разу, говоря о своем увольнении, не ссылается на «Дмитрия Калинина» как на причину университетской катастрофы: «А я так и просто был выгнан из университета за леность и неуспехи» (Белинский. Письма, 1914 г., I, стр. 87); «выгнанный из университета за леность студент» (Письма, I, стр. 345).

Инспектор и профессор Московского университета Щепкин, которого мы не имеем права подозревать в недобросовестности, доносит помощнику попечителя, «представляет во внимание его превосходительства», что «Белинский, сам чувствуя свое бессилие для продолжения наук, просил, в 1831 году, уволить его от университета и определить в канцелярские служители», но что следовало бы, не исполняя этой просьбы, совсем «уволить его от университета по слабому здоровью и притом по ограниченности способностей». Если бы у Щепкина были другие основания, если бы он имел в виду неблагонамеренность Белинского, проявленную им будто бы в «Дмитрии Калинине», то из-за чего же инспектор об этом умалчал бы и что же помешало бы ему в официальной и, вероятно, конфиденциальной бумаге поддержать свое ходатайство об увольнении студента ссылкой на его политическую неблагонамеренность, «представить о сем во внимание его превосходительства»? Разве такого рода аргументы не являются для их превосходительств самыми убедительными и решающими?

Правда, А. Н. Пыпин свидетельствует, что, по всем отзывам, какие ему приходилось читать и слышать, трагедия сыграла свою «положительную роль в исключении Белинского из университета».

Таким образом, самое большое, что может иной предположить, только предположить, это – что, по слухам, «Дмитрий Калинин» известную роль в увольнении Белинского сыграл. Но как это далеко от категоричности гг. Дермана и Иванова-Разумника! И я лично, пока мне не представят фактов, что причина или что даже одна из причин увольнения Белинского – «Дмитрий Калинин», имею право в это не верить, и этим правом я пользуюсь.

Я так задержался на вопросе о «Дмитрии Калинине» не только ради необходимой самообороны, но и для того, чтобы на этом примере показать, как неосновательно приписывают Белинскому «самые „протестующие“ взгляды» (выражение г. Иванова-Разумника),

как неточно рассказывают его биографию и как вообще создается то, что я назвал легендой о Белинском.

В подтверждение своего взгляда, что либерализм Белинского, как и все его мировоззрение, отличается большой неустойчивостью, я, между прочим, указал на ту его страницу (отзыв о IV книге «Сельского чтения»), где он, после знаменитого письма к Гоголю, в 1848 году, опять славит «благодарное» влияние «просвещенного» русского правительства и «в отношении к внутреннему развитию России» считает царствование своего государя «самым замечательным после царствования Петра Великого».

Г. Евг. Ляцкий фактически неверно утверждает, будто я свое мнение о сочувственной поддержке Белинским русского шовинизма и официальных канонов обосновываю на этой «одной фразе», «придравшись» к ней: здесь мой рецензент просто невнимательно прочитал меня; и оттого, поблагодарив г. Ляцкого за выраженную им уверенность, что я только «не разобрался» в «эзоповском» стиле Белинского, а не допустил «заведомой» подмены одного понимания другим, поблагодарив его за великодушный отказ от обвинения меня в подлоге, я в данном пункте спорить с ним не буду, а выясню намеченный вопрос по рецензиям гг. Ч. В-ского и Бродского. Впрочем, и г. Бродский не прибавляет ничего нового сравнительно с тем, что говорит об этом г. В-ский, и оттого я позволю себе ограничиться ответом только последнему.

А г. Ч. В-ский говорит, что моя ссылка на приведенные слова Белинского – «злостный попрек» и что, в противность моему «ядовитому подчеркиванию», «никакого этического противоречия» между письмом к Гоголю и отзывом о «Сельском чтении» нет. По существу, г. Ч. В-ский выясняет, что поразившие меня слова Белинского получают в контексте его статьи иной характер: они вызваны-де слухами о предстоявшем освобождении крестьян, о знаках внимания со стороны Николая I министру государственных имуществ гр. Киселеву, стороннику эмансипации, и написаны, по-видимому, как и весь отзыв, «лишь ради радостного намека» на ожидавшуюся реформу. А если бы не так, то, очевидно, г. Ч. В-ский согласился бы со мною в оценке этих строк Белинского: ведь мой оппонент и сам замечает, что «после революционного, если угодно, письма к Гоголю» прославление в печати самодержавия было бы непоследовательно: «Подумаешь, действительно, какая отталкивающая неустойчивость!»

Г. Ч. В-ский защищает Белинского от того, в чем я даже его не обвинял, и потому бьет мимо цели. Я ни словом, ни намеком, ни попреком не указывал на этическое противоречие между письмом к Гоголю и рецензией на «Сельское чтение»; к яду, иронии, злости и прочим страстям вовсе я и не должен был прибегать для выражения той простой и прямой мысли, какую я высказал. А высказал я то, что Белинский свои прежние охранительные мотивы сменил затем, особенно в письме к Гоголю, совершенно другими звуками, «страстной лирикой трибуна», но что ни в каком случае нельзя поручиться, чтобы она была у него окончательной, и недаром уже после этой лирики он опять славил «благодарное» влияние «просвещенного» русского правительства и т. д. Как я думал и думаю, что Белинский вообще ненадежен, так, на почве моего общего изучения и понимания его деятельности, я и по этому поводу выразился в том же духе – именно, что нельзя ручаться за прочность его радикализма, и в одно из подтверждений своей мысли привел упомянутую цитату. Если революционер убежденно обращается в монархиста, то ничего этически дурного я в таком обращении не вижу и в этом не стал бы упрекать Белинского. Мне нужно было, повторяю, иллюстрировать только его характерную шаткость И вот она опровергается ли соображениями г. В-ского?

Я понимаю, отчего последний зальцбруннское письмо к Гоголю называет «революционным, если угодно». Оно, действительно, не совсем революционно. Наряду с такими тирадами, которые этого определения вполне заслуживают, гам, согласно обычной невыдержанности и чересполосности Белинского, есть и места, удивляющие своей неприятной умеренностью. Так, *pia desideria* нашего критика-публициста – это, между прочим, дважды

высказанное пожелание, чтобы законы строго исполнялись «по возможности». Так, перечисляя «самые живые, современные вопросы в России», Белинский называет среди них «ослабление телесного наказания». Согласитесь, что это далеко от максимализма...<sup>2</sup>

В общем, тем не менее письмо к Гоголю революционно, – пользуясь разрешением г. Ч. В-ского: мне это угодно признать. Но именно потому свидетельством неустойчивости Белинского я и считаю отзыв о «Сельском чтении». Слухи об освобождении крестьян, учреждение министерства государственных имуществ, внимание, оказанное Государем Киселеву (об этом так пишет Белинский в том письме к Анненкову, на которое ссылается г. В-ский: «Недавно Государь Император был в Александрийском театре с Киселевым и оттуда взял его с собою к себе пить чай: факт, прямо относящийся к освобождению крестьян»), – все это, я согласен, могло повлиять на Белинского, но это не могло бы поколебать его, если бы он действительно был убежденным революционером или радикалом. Находить в 1848 г. Николая I одним из «достойных потомков великого предка», «Моисея», т. е. Петра Великого: утверждать, что «с тех пор до сей минуты» Россия шла по мирному пути цивилизации; говорить вообще таким тоном – неужели все это (даже принимая во внимание, с одной стороны, цензуру, а с другой – слухи об эмансипации) является внутренним и органическим продолжением письма к Гоголю? Не исчезло ли куда-то революционное отношение к русскому самодержавию и не осталась ли зато неизменной поражающая изменчивость Белинского?..

<sup>2</sup> Правда, у Венгерова и Ляцкого читается «отменение телесного наказания». Г. Ляцкий в примечании к III тому «Писем» Белинского (с. 377) говорит, что здесь существуют разночтения: ослабление, уничтожение и отменение – и что «установить подлинный текст пока не представляется еще возможным». Г. же Венгеров в книге о Гоголе разрубает гордиев узел риторическим вопросом: «Вероятно ли, чтобы Белинский требовал только „ослабления“, а не „отменения телесного наказания?“» На этом прочном основании С. А. Венгеров ставит «отменение», хотя в копии Краевского, особенную достоверность которой признает сам С. А., мы читаем: «ослабление». Я же считаю вполне убедительными те соображения, которые по этому поводу высказывает г. П. И. Вишневский в своей упомянутой выше книжке «Н. В. Гоголь и В. Г. Белинский». Там, на с. 114, он отмечает, что не только в копии Краевского, хранящейся в Императорской публичной библиотеке, но и в самой ранней редакции письма, как оно напечатано в «Полярной звезде» Герцена, который непосредственно от Белинского выслушал черновик зальцбруннского послания, – значится «ослабление». «Уничтожением» или «отменением» впервые заменил это неприятное слово Пыпин (в 1876 г.), и получилось, как справедливо указывает г. Вишневский, «нечто не совсем складное»: если бы Белинский имел в виду «уничтожение» телесного наказания, то вместо повторения одного и того же слова он просто между словами «уничтожение крепостного права» и словами «телесного наказания» поставил бы и; или он употребил бы «более выразительное» и более употребительное, чем «отменение», слово «отмена». «Употребив выражение „ослабление“, Белинский сказал то, что сказал». Не совершена ли здесь в самом деле некая *piā fraus* («святая ложь»)?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.